



Д. А. ВАЛУЕВ

<Россия и Запад>

Предисловие к «Сборнику исторических и статистических сведений о России и народах ей единоверных и единоплеменных» (Ч. 1. М., 1845)

Первым двадцатилетием настоящего века Россия окончила со славою свой государственный подвиг, начатый Петром Великим.

Не завоевывая, лишь защищаясь и нередко защищая угнетенного или молящего о защите *, она незаметно стала во главе тех самых народов, которые еще недавно не хотели знать про ее существование. — Ее подвиг на этом поприще кончен. Направлению, принятому государством последовало, разумеется, все направление жизни и деятельности общества, литературы, — искусства. Задача России была узнать Запада, уроки его вековой опытности, богатые плоды его долгой, трудовой жизни.

Такова наука была ей необходима. Оставаясь в тесной исключительности своего быта, государство не могло развить своих вещественных сил, и даже для духовных сил России едва ли была возможность когда-либо прийти к своей полной и сознательной жизни иначе как через знакомство с Западом и его умственным достоянием. Но для того, чтобы Россия могла понять этот Запад, — было также необходимо, чтобы она, хотя на время, перенесла на себя некоторые его явления и формы.

Еще с половины XVI века начала Россия знакомиться с Западом и усваивать себе многие плоды его просвещения. Петр Ве-

* Таково участие России в войне семилетней, сперва в защиту Австрии и потом Пруссии, итальянский поход Суворова, и в то же время высадка русского корпуса в Голландии, в помощь англичанам, и участие России в войне против Наполеона в 1812 г.

ликий лишь сомкнул крутым поворотом своей воли в жизнь одного поколения то, что иначе — совершилось бы в течение одного или двух веков, — вероятно, постепеннее, с меньшими утратами и жертвами. Но дало бы иную, может быть, более блестящую историю России.

Как мы с Петром Великим приняли в себя достоянье западного мира, так и этот западный или германский мир принял в себя когда-то наследие древнего человечества. Но условия нашего положения при таком займе были гораздо благоприятнее для нас и нашего будущего. Мы получили западное просвещение не как переданное нам в наследство от другого, почившего мира, но как плод и опыт другой, более изведавшей и блестящей жизни, которая нам предложила свои уроки. — Воспользоваться этими уроками и опытами, познакомиться с этим вновь для нас открывшимся, более просвещенным *, миром было для России, бесспорно, необходимою; но воспользоваться тем или другим опытом, усвоить себе то или другое явление из его жизни, предоставлено было нашему выбору.

Не так счастлив был германец. Наследства завоеваний покупаются своей дорогой ценою, кроме той крови, которой они стоили; они приносят с собою народам-завоевателям ** свои долги нравственные, если и не денежные, как то бывает с наследствами в частном быту людей. Для германца, пришедшего на римскую почву, свободного выбора не было и быть не могло. Бессознательно и поневоле впитал он в себя все дурное и хорошее полуязыческого римского мира и доселе после 14-ти столетий еще не может расплатиться со всеми своими долгами ***.

* Мы понимаем здесь просвещение в том общем неопределенном значении, которое обыкновенно дают ему. Если же понимать под просвещением не одни вещественные улучшения в быту человека, усовершенствования науки, художеств и видимое благоустройство общества, а то совокупное умственное и нравственное движение, которое должно соединять народы в единство братолюбивой жизни и осуществлять в обществе чистую мысль христианства, во сколько она осуществима в человеке, — то, во всяком случае, еще останется под сомнением, кого с большею справедливостью можно назвать просвещенною — Россию ли XV или XVI века, или ей современную католическую и протестантскую Европу?

** Вспомним при этом, что Россия и Норвегия — единственные два государства в Европе, которые не были основаны завоеванием.

*** История религиозных убеждений есть вместе итог всей истории Запада; а между тем вся жизнь и развитие латышского общества и латышского церковного государства, которым обнимались и создавались все общественные отношения средневековой жизни, услов-

Россия была счастливее: Запад ничего не мог произвольно навязать ей ни дурного, ни хорошего. Он мог передавать нам только то, что мы сами выбирали; ибо свободный выбор оставался всегда за нами. Если же в чем мы дурно воспользовались им, то мы одни и виноваты.

Учителю же и просветителю нашему мы обязаны многим, и не можем не быть благодарны ему за то, что он за нас выработал, пережил и протерпел, и что досталось нам даром, без труда, без пота и крови, — за добро и зло, истину и ложь, которые он вынес из своего долгого трудового века. На Западе впервые были подняты и пробуждены все вопросы науки и жизни к их мировой деятельности, и во всем живом многообразии их развивавшей и ими развиваемой личности; — у западного человека достало мужества, чтобы не остановиться ни перед одним вопросом, и не испугаться ни одной крайности умственного или нравственного мира. И потому обвинять ли его в этих крайностях? Они были лишь неизбежными спутниками его духовной отваги и страстной деятельности. Своими опытами жизни и даже своими заблуждениями он не менее принес в общее достояние человечества и служил ему, чем сколько служили Христианству, высшему и конечному единству всего человеческого, другие народы и земли своим страдательным и робким бездействием; — которое, может быть, одно делало возможным в незрелом духовно человечке сохранение в чистоте его духовного завета. Но и те другие народы одинаково необходимы в общей экономике человечества. Произнести же приговор миру латинскому могут разве будущее и будущие поколения самого Запада? — но не мы, которым суждено воспользоваться всеми плодами его жизни, и уроками его опытов, — ибо суд наш, если и беспристрастный, едва ли может избежать обвинений в пристрастии даже неблагодарности?

Мы многому научились у Запада, но не следует забывать и того, что уроки учителя тогда только достигают своего назначения, когда они пробудят в ученике его собственные силы, и он сумеет основать на них свою самостоятельную жизнь и сознательное мышление; — иначе же вся его наука бесплодная трата сил и времени или бесполезная, если не вредная, забава.

лены предшествующими данными языческого римского и германского мира. Прямым и необходимым плодом католицизма был протестантизм со всеми его крайними современными выводами, а дальнейшего исхода, на том же пути, пока не представляется для человека, беспристрастно и со стороны смотрящего на историю Запада.

В меру тому богатству, которое мы приняли, и тот подвиг, который предстоит нам. Но мы должны помнить, что такое даровое богатство, никем не купленное, разве утратами из своей внутренней жизни, — непрочно; — что это просвещение, хотя и привитое к нам, не могло перейти в кровь и соки самой жизни и передать ей своего прошедшего, своих верований и надежд, в которых его сила и живое могущество. Оно привито к нам, но пока остается в нас каким-то междоумком; — чем-то совершенно чуждым и внешним всему нашему остальному существованию, каким-то тепличным растением, оторванным от своего корня и родимой почвы и потому лишенным всех своих живых соков и, по-видимому, не обещающим никакого плода.

Таково действительно наше нравственное отношение к Западу; — и наше просвещение, если и должно было перейти через него, то не должно и не может на нем остановиться. Но где же исход к лучшему или, по крайней мере, более зрелому, — что нам укажет дорогу? Разве не так же раболопно мы выжидаем указки нашего учителя для своей каждой мысли и каждого шага в науке, литературе или искусстве? И не в этом ли Запад, — первообраз всего высшего и разумного, что только может когда-либо воспитать умственное и общественное развитие человечества? И разве не так же простодушно убеждены мы*, что других путей для мысли, науки и жизни более нет и быть не может и не должно; и что нам, за одно с последующими поколениями Запада, остается и возможно только продолжать или оканчивать им начатое? Но окончить свое дело и привести свое просвещение к его последним общественным и умственным итогам может только сам Запад, довершая назначенный ему круг жизни. Мы же, разделенные с ним всем нашим прошедшим и всем, что есть в нас своего и живого, продолжать его дела не можем, да и Запад в помощниках и продолжателях себе не нуждается и мы, не призванные и не прощенные делатели в деле чужом, — в нем только лишние!

Давно уже за нас решила в этом просвещенная Европа и доселе повторяет в своих пасквилях и даже похвалах, которыми удостаивает Россию; но вольно нам не слушаться ее в таком нам близком вопросе, когда мы послушные ее во всем нам постороннем. Пора бы, казалось, нам убедиться и в том, что многое из того, что Запад, по-видимому, уже выработал за нас, и

* Мы разумеем все так называемые образованные классы России, которые доселе воспитываются, — рождаются и умирают в этом или близком к этому, если и не осознанном, веровании.

нам передал готовым и оконченным, нам еще придется начинать сызнова, но пользуясь, разумеется, всем богатым запасом его уроков и опытов*. Уже время подумать и том, чтобы нам самим и из себя выработать внутренние начала своей нравственной и умственной жизни, приняв на себя и всю ответственность в ней, умея дать в ней отчет себе другим — и связать ее с своим народным прошедшим и будущим; — а не довольствоваться, — в пустоте своей внутренней жизни, — одним убеждениями, взятыми напрокат, вместе с последней модой из Парижа, или системой из Германии, — посылками без вывода или выводами без данных, из силлогизма, прожитого или переживаемого другим миром.

Таковы, кажется, бесспорные и разумные требования от нас того нравственного отношения к Западу, в которое поставила нас прихотливая судьба. — Рано или поздно эти требования осуществляются. Мы не можем не отвечать им и не можем не признать их; если только наперед не откажем себе и русской науке, — русской жизни, мысли и слову, во всякой живой и небесплодной будущности. Если же не предвидим для себя в будущем ничего, кроме тщетной задачи связать себя со всей полнотой западной жизни; — не имеем другой надежды, кроме повышенья из учеников его в его подмастерья или работники, то заранее обрекаем себя на всегдашнюю посредственность** и умственное несовершеннолетие перед Западом, — который сам же первый осудит все наши непрошенные жертвы и подвиги и тощие плоды напрасно растроченной жизни.

И потому мы должны сознавать себя и видеть в том просвещении, которое приняли от Запада, не вывод из чужой жизни, которой дальнейший силлогизм для нас невозможен и неуловим, а науку, опыт и материал для нашего будущего, которое еще наше и нас призывает на самостоятельное участие в мировом деле человечества, в новых, может быть, образах мысли и жизни, и новых еще нетронутых и свежих силах. — Ибо Россия, бесспорно, еще не пережила и не узнала в себе самой деся-

* Нам — так же, как и всякому другому народу, который бы поставлен был в то же отношение к другому, более просвещенному миру.

** Само собою разумеется, что все это может относиться только к области литературы, науки, искусства. В области же государства, прямо подлежащей государственной власти, никто и никогда не сомневался, кажется, чтобы Россия с тех самых пор, когда вошла в систему государств Европы, уже не занимала в кругу их одно из первых мест.

той доли тех духовных и вещественных богатств, которые заключены в ее духе или рассеяны на ее незримом пространстве.

С одной стороны, такое отношение России к просвещенному Западу, разумеется, может для многих быть предметом бесплодного отчаянья в себе и в России, причиной их нравственно-бессилья или предлогом для их нравственного усыпления; — но, с другой стороны, самые невыгоды такого положения представляются как большое преимущество перед Западом. Россия не только имела свой свободный выбор в том, что принимала от его духовных и вещественных богатств, но могла и снова отрицать от себя те явления, которые впоследствии находила себе противоречащими. Свобода, или свободный выбор, также мало исключает безошибочность в добре и зле, как и слепая необходимость, и сверх того при всяком займе от других поколений той всегдашней истины *, которую они из себя выработали, необходимо переносится вместе то случайное и частное, что нераздельно с их жизнью. Но когда оно принимается свободным и сознательным выбором государства, а не слепую необходимостью, как прямая прививка к жизни; тогда есть возможность для этой жизни: отрицать со временем это случайное и частное.

Для Германии и народов романских, которые заняли римскую почву, и наследовали древнее просвещение, это отрицание осталось доселе невозможным, несмотря на столько протекших веков, сколько перебродивших народных стихий и столько прожитого ими в величии и славе; но оно возможно и предвидится для России, когда она придет к своей более сознательной жизни в мысли, науке и литературе. Тогда все, что есть случайного и частного в том западном направлении, которое она приняла в себя, само собой отложится от ее духовной и умственной жизни как чуждое и не принадлежащее ей и оставит за собой один

* Кроме, разумеется, самой науки, открытий в науках положительных и частных истин в других науках, не должно забывать и другое, хотя отрицательное, но не менее драгоценное богатство, передаваемое каждым поколением своему преемнику — тех уроков и опытов, которые выработаны его заблуждениями. Всякая новая ложь и новое заблуждение, развивающие новые отрицания той или другой истины, приносят ей ту великую услугу, что делают ее проявление зреее и воспитывают ее к большей полноте этих проявлений, предупреждая тем новые возможные возражения или противодействия ей, настоящих и будущих противников. — Тогда только может та или другая истина войти в человеческое свое полное проявление и неизбежно утвердиться в общем сознании, когда исчерпан весь круг противоположных ей, возможных заблуждений.

очищенный материал, на развитие ее собственных сил для будущего человечества.

Полтора века употребила Россия на то, чтобы узнать этот Запад, учиться у его просвещения и пересаживать в себя его общественные и умственные явления и формы. Туда направлены были все силы государства, все сочувствия общества. Жизнь, литература, искусство, на перерыв и без разбора перенимали или переводили на русский лад все западное или не русское, дурное или хорошее, что только ни попадалось под руку, и доселе еще по невольной привычке иностранное название уже наперед говорит в нас в пользу самой вещи *. Изредка появлявшееся

* Когда у нас толкуют об общем превосходстве всякого немецкого мастерового перед мастеровым русским, о том, что всякий немец уже сам по себе заслуживает большее доверие, то забывают обыкновенно, — что вина в этом случае общая, как со стороны потребителей, так и класса производящего, и что надо, чтобы обе стороны подали друг другу руку для того, чтобы изменилось такое отношение. Не менее необходимо, чтобы потребители отстали от своих предрассудков, как и то, чтобы русские купцы и мастеровые заслужили себе большее доверие. Так, например, жиду тем труднее быть честным, что, если и случится ему быть таким, никто не верит ему, потому только, что он жид. Но справедливо замечали почти все писатели о жидах, даже и противные им, что в этом характере жидов столько же виноваты сами жиды, — и виноваты, разумеется, первые, — сколько и то христианское общество, которое всюду или отвергало их, или, допуская к себе, обрекало на все унижения человеческого достоинства, и поставляло как пария вне всех человеческих законов. Одна Россия, имевшая перед собой гибельный пример Польши, никогда не терпела в себе жидовского населения, и в этом случае поступала, разумеется, с гораздо большим человеколюбием, чем государство средних веков, их допускавшие в себя. Надеемся, что никто не примет это за сравнение, мы указываем только на явление параллельное. — Так и русскому мастеровому, тем труднее быть хорошим мастеровым, что никто не верит доброте его изделия, потому только что его изделие русское. И поэтому он поневоле часто принужден идти в батраки к немцу или выдавать свою работу за иностранную. Заметим, сверх того, что в этом случае класс потребителей был первым виновником такого отношения и необходимо вызвал его своим исключительным поклонением всему иностранному и презрением без разбора ко всему русскому, презрением, которое бесспорно господствовало во всей России до самого недавнего времени и от которого недавно только стали мы отвекать. Впрочем, класс потребителей был еще не столько виноват перед классом производящих своим пристрастием ко всему иностранному, сколько тем, что изменив внезапно свои обычаи и привычки жизни, и вырвав работника из его привычной

на русской почве художественное произведение, художественный или литературный талант следовали, разумеется, за общим течением. Таковы каменные громады Елисаветина времени, такова, за малыми исключениями, вся наша литература XVIII века, — таков, наконец, Жуковский, последний и даровитейший представитель этой эпохи в литературе.

Разумеется, что науке западной остается еще много дела у нас, она далеко не так обобщена, не так изучаема, как того требовать и ожидать можно. Но мы, по крайней мере, достигли одного утешительного и плодотворного результата, — что в нас пробуждено одинаковое сочувствие и любовь ко всем явлениям этой науки, и ко всем явлениям человечества и вместе с тем доселе уберегли себя от всякой исключительности *. И потому если не в массах, то по крайней мере в десятках лиц наука стоит, — хотя и не на той степени буквенной учености, которой требует немец, — то на всей высоте ученых вопросов и их понимания. Сочувствие же это с умственными вопросами других народов осталось доселе недоступно Франции и Англии, не говоря уже о какой-нибудь отжившей Италии или еще не дожившем до науки испанце. Франция и Англия доселе остаются во всей тесной ограниченности своего исторического и ученого прошедшего, и не только не могут понимать умственных работ и умственного движения Германии, но даже воспользоваться (в той степени, как следовало бы ожидать) филологическими и историческими трудами немцев **. Впрочем, и Германия, несмотря

колеи, — он необходимо должен был лишить его на долгое время всякой возможности соперничать со всяким иностранцем. Поэтому классу потребителей, казалось, следовало бы первому исправить свою вину и тем вызвать и класс производящих на исправление в себе тех недостатков, которые мешают доселе восстановлению должного отношения между обоими.

* Убережем ли себя и на будущее время, это сомнительно? — но вероятно, что с этой стороны, больше потеряем, чем выиграем, с большим развитием у нас народного начала.

** В справедливости такого обвинения нельзя не согласиться, когда до сих пор ни одна школа немецкой философии не нашла в обеих землях ни одного последователя, не только дельного противника, и даже Кузен, первая современная знаменитость Франции, теперь уже потерял в самой Франции всякий философский авторитет, а Дюгальд Стюарт ни *аза* не понял в Канте. Между тем в обеих землях публичность дошла уже до того, что каждый спешит на общую выставку со всяким полувзглядом или полумыслью, которая представляет в себе хоть тень чего-то нового, и, кажется, нельзя отказать Франции и Англии в ученом и умственном движении. Впро-

на всю многообъемлемость и отрешенность ее умственной и ученой жизни, не может доселе вполне освободиться от известной исключительности, которую налагает на нее общее прошедшее и тесное родство со всем западным миром. Но зато положение русского (которым, разумеется, он еще не умел воспользоваться) перед всяким историческим вопросом, может быть, самое выгодное, какое есть в просвещенном мире; ибо он может рассматривать всякое общественное явление или народную личность Запада как нечто ему совершенно внешнее, — как естествоиспытатель рассматривает явления вещественной природы.

Нечего нас обвинять, что мы до сих пор ничего или почти ничего не прибавили к науке западной; доселе мы не могли и даже, может быть, не должны были ей ничего принести от себя; ибо мы были еще только учениками ее, и не выходили из ее умственной опеки. Мы могли бы только прибавить к массе ма-

чем, с другой стороны, Германия так же мало может избежать обвинения в совершенном равнодушии к религиозным вопросам Англии и в непонимании их. Но это равнодушие объясняется тем, что немец в своей рациональной гордости не хочет даже снизойти до их исторического значения. Вообще для Германии закрыты все религиозные вопросы в их значении как исторической науки, ибо для немца-протестанта существуют только две точки отправления: индифферентная или рациональная, из которых та или другая одинаково лишены всякой исторической основы, и прилагают к историческим явлениям Церкви мерило совершенно чуждое и неприложимое к ее явлениям. Сверх того Германия, связанная воспоминаниями католическими, до сих пор не знает и не хочет знать обо всем вне католического мира. Положение католика также мало выгодно, как и положение протестанта при всяком историческом занятии, которое касается в объеме, несколько широком, вопросов религиозных, а между тем борьба религиозных верований — окончательный итог всей истории Запада. Католик принужден на каждом шагу оправдывать то, что не находит в себе никакого оправдания, или прилагать к историческим явлениям готовый суд Церкви, который она уже произнесла над каждым из них, словом или делом; ибо не было на Западе ни одного великого общественного явления, в котором бы не участвовала и сама Церковь. Не разорванный как протестант с исторической основой, он не может, однако же, воспользоваться выгодой своего положенья, ибо находится с ней или в постоянном раздоре и тогда выбирает дорогу взаимных уступок и соглашений между двумя противоречиями или, рабски повинаясь всем требованиям своего положения, может прибавить новые фолианты к огромным и почтенным трудам бенедиктинцев, иезуитов и др., важным как материал, но ничего не прибавит к самой науке.

териалов, которые ежегодно накапливает Германия для будущей науки, или несколько ученых имен к несметному числу ее почтенных тружеников, постоянно занятых раскладыванием в старых рамках, но на новый лад, всяких различных цитат и многочисленных авторитетов*.

Пока еще не настало свое сознательное мышление, не выпалились иные силы и требования и мысль своя, живая и самобытная, не нуждающаяся более в рамках учителя и тетрадка для памяти, не лучше ли было с смирением продолжать свое учение? набираться дальнейших уроков чужого опыта и плодов чужого труда? Мы так и делали. Когда же, — свежие силы вопришедшего в историю народа, и все глубокие тайники его внутреннего, еще неосознанного духа, скрытая мысль и поэзия его быта и недаром прожитого им прошедшего, — раз отзовутся в его мыслящих представителях, знакомых с просвещением, прочного мира, — тогда всякий добросовестный труд, в области науки, принесет ей в дань не букву и не мертвый набор актов, а свое живое слово и свежую силу, которая даст ей новое движение, и оплодотворит ее почву, где она оскудела.

С пробуждением такой жизни более зрелой и самобытной** в мысли и науке нечего, однако ж, бояться за западное направление и за западную науку. Столбовой дороге, пробитой Петром, не зарости травой, и делу его не заглохнуть, — в деятелях и ревнителях на прежнем поприще недостатка не будет. Западное просвещение не может не увлекать нас и не быть для нас более чем соблазнительным. Давать себе ответ и удовлетворение на все потребности души и мысли в готовых результатах чужой жизни, ничем не требуя от себя и обходясь без своего труда и внутренней работы над собою, так соблазнительно для нашей русской ленивой природы, — что тяжело и трудно ей проснуться для иных требований и даже мудроно требовать от нее такого усилия над собою.

Если же обратимся к Западу и забудем на время Россию, — нет того вопроса, которого бы он не разрешил нам, нет той по-

* Мы говорим, разумеется, не об людях, каковы Нибур, Гримм, Шлоссер, Лео, Риттер и др., но преимущественно о последнем десятилетии и об массе ежегодной немецкой ученой производительности, нельзя не удивляться ее обилию, и огромности предпринимаемых трудов, и в то же время их относительной бесплодности и скудости живых и новых результатов для науки.

** Мы не говорим, чтобы она уже пробудилась, но только указываем на необходимость этого пробуждения и на некоторые признаки такой более самобытной уже начинающейся жизни.

требности души, на которую бы не ответил, и даже в тех вопросах, на которые еще сам не нашел для себя ответа. Ибо что бы мы ни делали, какие бы ни были наши подвиги похвального самозабвения, все же мы остаемся в его делах не более как *дилетантами!* А потому для тех из нас, которые обрекли себя на жалкую роль такого дилетантства, ни потребностей западной жизни не могут быть так искренни и глубоки, ни вопросы ее так неумолимо строги, как для тех, для коих эти требования, — вся их обнимающая жизнь, и живой плод всего их народного и общественного прошедшего. Ибо напрасно думают, что может быть перенесен с одной почвы на другую весь внутренний мир человека. Переносятся одни формулы его и наглядные выводы, но уже лишенные всех задатков внутренней жизни. Так созревший плод, который, по-видимому, уже окончил свою растительность, падает семенем на родную почву и вырастает в новое дерево, и тот же плод, перевезенный на заморский рынок *, служит только прихоти немногих и дорогим аристократическим лакомством.

Немудрено, впрочем, если западный мир часто убивает в нас нашу собственную самостоятельность, повергая в незаконную дремоту все лучшие созидательные силы души и невольно заслоняя перед нами тот внутренний мир мысли, образов и убеждений, который неразделен с духовною личностью каждого народа. Едва созданный или только угадываемый робкою наукою, бедный художеством слова, нищий дарами искусства, он не может не исчезать и не теряться перед яркими красками, в которые облечен мир западный; — он остался доселе чужд всему, что бы облекло его в ту красоту образов, дало его явлениям ту осязательность, перед которыми только и может преклоняться большинство; и потому мудрено ли, если для этого большинства он не может не исчезать перед обаянием, которое разлива-

* Римлянин наследовал, по-видимому, все плоды греческой жизни, но ему остались неизвестными высокие требования греческой души. Так и западный человек еще выжидает новой спеющей жатвы, и не обретал успокоения в своих исканиях истины, между тем как для близорукого взгляда дилетантства всему уже есть удовлетворение, — на всякий вопрос готов ответ, нет и не предвидится более ни новых путей, ни новых требований для науки и жизни, — и просвещенному человечеству остается только распространять на других, еще оставшихся в прежнем варварстве сынов его, те же неопцененные блага, не спрашивая даже у варваров, хотят ли они этих благ или нет, и признают ли они благом то, что им дают в замену их отцовского достояния.

ет вокруг себя мир западный, — перед могуществом его воспоминаний, из которых каждое уже облечено в красноречивую рамку романа или драмы, величием и гордостью его громкого многовекового прошедшего, — всем блеском и соблазном его настоящей кипучей и волнующейся жизни... И так прекрасны все наши первые молодые мечты о нем, так он гордо увенчан пред нами всеми красотами поэзии, природы и искусства — и так бедна и скудна перед нами жизнь и даже наше прошедшее слишком строгое и однообразное, чтобы быть увлекательным, и слишком простое, чтобы быть доступным для многих, что наше увлечение понятно и извинительно даже там, где оно переходит, по-видимому, за ложные границы.

Ибо чего просит прежде всего большинство людей, называющих себя просвещенными и приобретших право презирать и учить своих непросвещенных братьев, как не громких слов и имен, блеска и мишуры жизни, наполняющих ту пустоту существования, которая составляет неотъемлемую принадлежность просвещенного большинства; и чего требует оно от самой жизни, как не наслаждения всем умственным, нравственным и вещественным комфортом, который изготавливается для него услужливым просвещением? Но, к сожалению, нередко и лучшие умы, — чего они ищут в этой науке, искусстве и самом просвещении, которому служат? Часто, если и бессознательно, они ищут того же комфорта, усыпления мысли и сил души в ограниченности той или другой системы или рутины, — удовлетворения всем новым изысканным требованиям просвещенного существования и его нравственного сибаритства... И наконец, не было ли такое развитие всестороннего комфорта, удовлетворяющего всем потребностям человека, основной задачей всего западного просвещения и всей жизни западного человечества? * Таковы, по крайней мере, его собственные, если и не совсем сознанные выводы и новые стремления жизни, которые уже не видят иной задачи для человечества, кроме обобщения того же комфорта.

* Так, католицизм, дающий готовое разрешение на все потребности христианской души и совести, в живом представителе духовной истины на земле и протестантизм, дающий право каждой личности на саморазрешение всех требований своей совести и духовного убеждения, не суть ли это, в известном смысле, только два видоизменения одной общей религии нравственной бестревожности? (комфорта). — Ту же задачу, не разрешенную в области веры, берет на себя систематизм в науке, формализм в обществе, мода в гостинной и т. д.

Таков этот западный мир, перенесенный во всем его нравственном могуществе в незащитную перед ним и простую природу русского человека и теперь уже присущий всей нашей внутренней жизни и нераздельный со всем нашим внешним существованием, с детства уже говорящий нам в образах, понятиях и звуках, в которых мы от колыбели воспитаны и в которые уже невольно облекается каждая наша мысль и чувство.

И потому нечего нам бояться за наше западное просвещение, и нечего пугать себя возвратом так называемого допетровского варварства. Отречься вполне от Запада значило бы нам отречься от самих себя. Отречься от него как от внешних форм и оболочек жизни не стоит того, если само время не заставит отречься; отречься как от науки и опыта жизни мы не должны, если бы и могли, и не можем, если бы и захотели, ибо вдесятеро легче выучиться вновь самой трудной науке, чем забыть или намеренно разучиться тому, что раз выучено. К тому же толчок, данный России, слишком силен и дан слишком сильной, могучей рукою, чтобы она (если и не в той исключительности) не продолжала еще долго идти по той же дороге и чтобы европейский слой ее скоро забыл свою благодетельницу Европу.

Но вместе с тем с первым двадцатилетием XIX века для государства русского настала, как мы сказали, новая эпоха. Довершив свой подвиг на Западе, успокоив и умерив взволнованную Европу, оно обратило свои силы на самого себя и на своих забытых единоверцев.

Классические воспоминания призывали Европу на вопль издыхающей Эллады под варварством турка, — и Наварин спас Грецию¹. Но другие святейшие узы связывали с Грецией Россию, и гром русских пушек под стенами Царьграда даровал окончательную свободу единоверной Греции. Россия не захотела воспользоваться своими завоеваниями, но плодом ее торжества была свободная Греция, новое, единоверное государство, и трое других единоверных княжеств, а такой многообещающий плод стоил всяких завоеваний.

С падения Царьграда Россия оставалась в продолжении трех столетий единственным православным государством на всем пространстве земного шара. В наш век и в его последнее двадцатилетие она увидала себя внезапно окруженной четырьмя другими православными государствами, которых историческая жизнь, так же как и ее*, еще впереди. Факт этот еще не до-

* По крайней мере, сравнительно со всеми другими государствами Европы. Сербия и даже Валахия и Молдавия едва ли менее заслу-

волью замечен и оценен доселе, но он готовит совершенно иную историю для будущих столетий. В то же время Россия подняла оружие в защиту недавнего царства, повергнувшего свой венец и скипетр перед единой Россией, чтобы спасти себя от разбойничьих ватаг мусульманских и своих красавиц от поставщиков султанского сераля. — Границы Закавказья были раздвинуты и ограждены: армяне, принадлежащие к восточному исповеданию, соединены в одну область, которая служит вместе средоточием их духовной пасты **, и доселе Россия не перестает ополчаться против диких твердынь Кавказа, — в защиту от хищничества горцев, — своих прикавказских владений. Наконец, в то же время совершается возвращение в церковь унии. Мирная проповедь разносит учение Христово в тундры Крайнего Севера, дотоле незнакомые с благословением христианства, и с помощью России заводятся православные школы на Востоке.

Не менее многозначительны были в то же время внутренние действия России. Право есть высшее условие и цель всей жизни и стремлений общества. Здоровое развитие права, может быть, первое условие общественного благоденствия, и потому на него должно было устремиться прежде всего внимание государства. Свод законов и Полное собрание были первым великим делом на новом поприще.

Второе условие и основа всей гражданской жизни государства, после самого права, есть бесспорно поземельная собственность, и вторым делом государства была забота о точном определении ее и приведение в порядок. Таково полюбовное, чересполосное размежевание, которого значение тем более важно в государственной жизни России, что закон предоставил в этом случае дело частное частному домашнему разбирательству, оставляя за собою одну охрану и оберегание выгод и прав каждого. Таково было общее отношение гражданского закона и судебного распорядка к жизни в древнем Риме; пока в нем была еще сильна внутренняя жизнь права; и таково оно было более или менее, в древней России.

Та же просвещенная заботливость правительства открыла для науки государственные архивы, собирает из архивов и биб-

живают название государств, чем какое-нибудь Виртембергское или Ганноверское королевство, и едва ли не более весит в системе государств европейских.

* Мы, разумеется, понимаем одно оседлое население армян, ибо армяне, так же как жиды в Европе, рассеяны по всему Востоку.

лиотек других государств все относящееся до России, печатает источники нашей истории, собирает разбросанные по лицу всей империи памятники нашего древнего быта и нашей древней общности. Она же знакомит Россию с ее единоплеменниками: славянские кафедры основаны во всех университетах, и молодые люди посылаются на счет правительства в славянские земли, для изучения славянских языков. Издано «Вооружение русских войск»²; издание, которого доселе не оценена вся важность. Эта книга впервые облекла для нас в образы и лица нашу забытую старину: мы узнали, по крайней мере, в чем ходили наши предки, какой вид имели наши древние города и села, и то уже много для первого начала. Теперь только начинает быть возможным для поэта роман или драма из нашей древней жизни, — живописцу картина, ваятелю статуя. Для того, чтобы художественное созерцание могло быть живое и полное, должны быть даны художнику живые образы и краски, — в которые могли бы облечься его мечты и ясновиденья; — мысль художника должна заранее свыкнуться с этими образами, их полюбить и в них вдуматься. Но для того, чтобы могло существовать между нами такое искусство, отзывающееся на все родные звуки русской души, которое бы воскресило перед нами бледные тени нашего прошедшего и вызвало к жизни все, что доселе для нас мертво и немо, — надо, чтобы с детства мысль наша и представление об нашем прошедшем, облекались в определенные и живые образы русской жизни, а не в какие-нибудь римские тоги и рыцарские мантии или туманные представления своей незрелой фантазии. Поэтому книга эта оказала великую услугу России тем, что она сделала общим достоянием доступное для нее только немногим в том или другом государственном хранилище. Ею сделано уже много, но такое начало обещает еще более.

Если бы средние века не оставили по себе столько живых следов и гордых памятников прошедшего, которые на каждом шагу воскрешают его для западного человека, едва ли бы был возможен роман Валтер-Скотта или «Фауст» Гете. Мы не были так счастливы, как Запад; от нашего прошедшего уцелели одни немногие остатки, разбросанные по всему безграничному пространству России. В том, разумеется, столько же виноваты мы, сколько отцы наши и деды, но более всего виновато то неуважение и невнимание к своей исторической жизни, которое вообще заметно везде, где жизнь народная еще преобладает над жизнью государственной. Но теперь, когда мы дожили до иных требований и начали понимать цену того, что утрачено, — вос-

полнить по возможности преступную утрату, собрать, воскресить, хотя на бумаге, все еще для нас уцелевшее и сделать его общедоступным каждому; — такова святая, на нас лежащая обязанность перед будущими поколениями и перед нашим прошедшим, которое с каждым днем все далее уходит от нас и безвозвратно теряется. До тех же пор, пока это не сделано, и если мы не поспешим этим делом, нам никогда не узнать нашего прошедшего в его живой полноте, так как Запад знает свои средние века и не только в его поэтической и художественной истине, но даже в его общественном значении. По странному закону всего органического, мысль человеческая так нераздельна со всей ее внешней обстановкой, что пока не даны живые образы для всех явлений нашего древнего быта, она невольно наполняет эти пробелы заученными и более знакомыми ей образами древней или средневековой жизни, — а вместе с образами иного мира незаметно вкрадываются понятия, сочувствия и внутреннее мерило исторических явлений, — чуждые явлениям нашей жизни.

Впрочем, наше прошедшее и не могло столько оставить по себе, сколько средневековый Запад, потому что ему чуждо было разнообразие западной жизни. Оно было проще и было связано в общее и живое единство одних условий жизни, обычаев и общественных верований (не только чуждое тому общему уровню, который проводится над всеми явлениями жизни новейшей образованностью, — но и не совместимое с ним); а поэтому и вся внешняя обстановка жизни и даже внутренний семейный быт мало чем разнились, начиная от боярских палат и до крестьянской избы. А такая общая простота жизни делает и воссоздание это гораздо легче и проще, чем обыкновенно думают.

Наконец наша церковная и светская архитектура перестала искать своих образцов в одном языческом и христианском Риме; она вспомнила, что была Византия и еще есть остатки от древней России и русский давно забытый язык уже не совершенный изгнанник из высших слоев общества, как то было прежде.

Направление, принятое государством, новые народные силы, им пробужденные, не могли не найти отовсюду сочувствия и отголоска. Влияние это отразилось не только на просвещенном обществе России, которое начало уже сбрасывать с себя западную исключительность и оковы французских и немецких идей, и приходит к более зрелому и самостоятельному мышлению; но оно уже проявляется в литературе, искусстве и т. д. Пушкин в последние годы своей жизни уже забывает свои байроновские

мечты и образы и поет русскую жизнь на русский лад; и в каждом новом стихе его и новой строчке его прозы уже высказывался новый великий поэт, которого недоставало России и которого судьба не захотела дать ей, отняв у нее Пушкина в самом начале его нового поэтического возраста. Наконец явился Гоголь, первый русский художник, принадлежащий всем творчеством своего таланта русской жизни и народной мысли и ничего не переведивший из пришлых чувств и пришлых идей на русский лад и русские нравы; — и самое искусство в Русском Художнике начинает показывать требования самостоятельности и своего живого развития, о котором прежде и не думало.

Наука, может быть, всех менее последовала этому движению (мы разумеем не школьную науку, а ту науку, которая двигает мысль и знание человеческое), и даже самая близкая к жизни наука историческая. До сих пор едва ли она знает всю важность своей задачи, едва подумала о том, чтобы пишущую, читающую романы и играющую в карты Россию познакомить с Россией, которая на нее трудится и работает, и доселе остается почти такою же, какою застал ее Петр Великий, во всех преданиях и условиях прошедшего, уже давно забытого и утраченного ее другою половиною. Едва ли что сделано доселе этой наукой, чтобы воскресить это прошедшее в его живых образах и требованиях *, и еще менее сделано ею, чтобы познакомить Россию со всем, что есть ей родного по вере и крови в других государствах и краях земного шара; — а без всякого знания ей никогда не узнать и себя во всей полноте и должной отчетливости.

Для мира романо-католического и германо-протестантского наука живая и полная возможна уже потому, что она равно обнимает и знает весь свой мир и что от нее не утаился ни один единоверный или единоплеменный уголок земного шара, в который бы она не внесла своего светильника. А мы что знаем, не говоря уже о единоверцах, но даже о единоплеменниках? и то нам рассказали из милости немцы, французы и англичане. Наконец, в самой истории Запада есть сотни явлений, для которых наука русская и православная должна найти совершенно иное разрешение, чем какое доселе находили для них люди за-

* Если Карамзин и воскресил нам наше прошедшее во внешних образах государственной жизни, — то бесспорно, однако ж, что он не воскресил и не мог воскресить его в живых требованиях современной науки, и во многом даже отодвинул силою своего художественного таланта, не говоря о знании, но пониманье нашего прошедшего, даже перед Щербатовым, не говоря уже о Болтине или Татищеве.

падные, необходимо заключенные в свою тесную сферу, из которой выйти они не могут, не отказавшись от самих себя.

Такова задача, которая, по нашему мнению, предстоит в наше время для русской исторической науки.

Что касается до самой России, то, не говоря уже о бессмертном труде Карамзина, материалов для исторической науки ее прошедшего уже собрано множество, много совершено частных трудов; много сделано для внешней обработки событий; но доселе немногие взглянули на внутренний смысл их, не много тронуту живых струн в истории этого прошедшего. Обвинять в этом, впрочем, некого; — разгадка внутренних вопросов жизни всегда приходит после, когда уже уяснена внешняя оболочка событий. Прошедшее, как и настоящее, бывает распутано и приведено в порядок в заглавиях вещей, прежде чем бывают поняты самые вещи. Первый труд так же необходим и важен, как второй; ибо без него последний невозможен. Сверх того, мы можем пока только указывать на последний как на необходимое требование науки, которому она рано или поздно ответит; — и терпеливо ожидать от времени исполнения этих требований.

Итак, бесспорно, что многое уже сделано для русской истории, хотя большее еще остается сделать; — но зато на другом, более широком, ей родном поприще, доселе не сделано почти ничего. До тех же пор, пока русская наука не усвоит себе всего родного русскому миру, невозможно для нее живое и полное знание самой России, как знает себя мир романо-германский.

А потому, считая первым и ближайшим требованием современной исторической науки у нас дополнить сначала первую, так сказать, материальную задачу ее, прежде чем подвигаться далее; — мы намерены прежде всего знакомить по возможности с современным состоянием и историею всех земель и племен, единоверных и единоплеменных России. Знакомство же такое познакомит нередко и Россию с нею самою, и мы пойдем в самих себе многое, что доселе было для нас загадкою, или об чем доселе и не думали.

Теперь постараемся определить, что должно войти в наше издание, держась с возможною точностию данного заглавия: «Сборник исторических и статистических сведений о России, и народах ей единоверных * и единоплеменных».

* Мы сказали *единоверных*, а не *православных*; и потому относим также сюда все христианские племена и земли, принадлежащие вообще к восточному исповеданию и которые бесспорно отделены

Если мы поставили *единоверных* прежде *единоплеменных* и намерены обратить наше особенное внимание на первых, то это не потому только, что Россия с ними наименее знакома, но и потому, что прежде и выше всего мы полагаем связь веры; хотя на простой взгляд, так же как и в обычном быту людей и даже в ежедневном политическом ходе государств, единоплеменность, по-видимому, сильнее связывает людей и общества и имеет большее значение в жизни. Но если обнять историю человечества в ее более широких размерах, взглядеться пристальнее в ее прошедшее и вдуматься в его будущее, мы увидим, что одна вера и духовные убеждения людей разделяют человечество на великие исторические массы; —или соединяют государства и народы в общую судьбу.

Как право есть высшее условие всей гражданской жизни человека в обществе, так вера и народное исповеданье есть высшее условие и конечный предел всей жизни и возможного развития не только самого общества и человека в нем, но и человека во всей его полноте и как члена семьи, куда не достигает внешний закон, и, наконец, как духовного существа, принадлежащего своему нравственному миру, куда не достигает никакая вещественная сила. Если наконец взглянем на настоящее, то увидим, что босняк-мусульманин, говорящий тем же славянским языком, как и все его славянские братья, зовет себя турком и больше ненавидит славянина, чем самый турок, а для славянина и вместе католика по убеждениям менее доступен истинный взгляд на славянский мир, чем для всякого добросовестного и знающего немца.

Говоря о единоплеменном и единоверном России, не следует также забывать, что под Россией мы можем разуместь только славянское племя и восточное православное исповедание, перед которым исчезают все другие народности и исповедания, входящие в ее состав. Перед лицом государства все они пользуются одними правами и одною защитой, но перед исторической наукой они не могут иметь одинаковых прав на ее внимание, и невольно вспоминается старинная русская пословица: все вхожи в дом чада и домочадцы, но не все чада. Ибо если одинаково по-

от общего вселенского единства одним *непросвещением* своим. Расколы западные не могут быть иначе рассматриваемы, как в связи с Западною церковью, так и отдельные восточные исповедания во всех основах духовного убеждения и задатках исторической судьбы нераздельны с Восточною церковью.

нимать под Россией все мелкие земли, племена и веры, к ней принадлежащие, татарина и бурята, мусульманина и буддиста, то в единоеверное и единоплеменное ей пришлось бы нам поневоле включить все веры и все поколения земного шара; — на неизмеримом пространстве России, вероятно, нашлись бы более или менее близкие представители каждого из них; но не они, — не бурят, не мусульманин, дают ей характер и определение; не они воспитали и создали государство. И потому всякий подданный государства принадлежит России, — но Россия принадлежит только православному и русскому, ибо ему одному принадлежат и с ним одним нераздельна ее история, ее прошедшее и будущее. Под православным же и русским, разумеется, должно понимать всякого русского и вместе православного, Великой ли, Малой, или Белой России.

Продолжая определять наше заглавие, мы должны также заметить, что принимаем слово «исторический» в его самом широком смысле и понимаем историю как науку, которая одинаково следит за всею внутреннею и внешнею жизнью общества, и обнимает ее во всех ее высших самостоятельных проявлениях (как история права, народного хозяйства, художества, литературы, языка и т. д.) и что, наконец, под статистикой мы понимаем не сбор современных, случайно встретившихся фактов, а науку живую, которая должна неотступно следить за историею во всех многосторонних образах человеческого существования, и служит ей математическою проверкой. И потому, нимало не ограничивая статистику одним настоящим, мы полагаем статистические факты далекого прошлого не менее драгоценными для науки, как и все самые любопытные современные сведения, ибо первые служат проверкой для жизни, уже совершившей свой круг и стоящей перед судом науки, — а последние еще принадлежат к данным для неуловимого будущего и к самой жизни, на которую наука еще не получила своего права.

Итак, давая историческое значение статистике, науке современного по преимуществу, мы указываем вместе с тем на общее направление издания, ибо вообще намерены знакомить особенно с историческою стороною всех многообразных явлений религиозной и народной жизни, в единоеверном и соплеменном нам мире. Раскрывать и вызывать к жизни и в свете общечеловеческого ведения живые начала прошедшего, которые воспитывают будущее науки и жизни, таково дело науки, — современное же и все вызываемое его требованиями еще не подлежат ее области.

Определив наш* взгляд на историю и наши от нее требования, цель издания и его объем, мы укажем теперь на вторую побочную цель, которую имели также в виду.

Кроме немногих больших трудов, все, что почти доселе сделано в нашей исторической науке, рассеяно в множестве периодических изданий и вместе с ними исчезает в общем потоке всего современного. В других землях есть публичные библиотеки, где всегда можно найти № старого журнала, и самые журналы гораздо специальнее, есть указатели и пр. У нас всего этого еще нет, и потому сыскать статью, помещенную в старых годах кого-нибудь периодического издания, — дело почти невозможное; а между тем нигде, может быть, не рассеяно столько частных сведений и чисто ученых разысканий рядом с модами, повестями и пр., как в наших журналах. — Противодействовать этому недостатку, собирая по возможности исторические труды в одно каждому доступное издание, и тем сохранять для науки то, что иначе могло бы затеряться для нее среди журнального хлама, такова наша другая цель.



* Такой взгляд во многом, может быть, вовсе не разделяем многими из участников в издании, как в том можно убедиться из многих статей, помещенных в 1-м томе, — а потому не должно быть смешиваемо одно с другим. Всякий взгляд и всякое представление фактов могут быть более или менее ошибочны, но факты остаются те же, как бы ни было односторонно их представление (если только оно добросовестно;) и самое заблуждение, если не прямо, то противодействием, которое оно вызвало или вызовет, одинаково вырабатывает то истинное воззрение или ту истину, которая должна окончательно утвердиться в науке и сделаться ее общим местом. Ошибаться можем и мы, более или менее, так же как и другое; всякое воззрение вырабатывается окончательно только временем и только временем освобождается от всего личного и случайного. Но только наука и добросовестное изучение ее во всех ее многосторонних направлениях и во всей односторонности каждого из них может окончательно разоблачить вопросы всего их случайного и навсегда утвердить на незыблемой почве. Для такой же последней задачи и цели всякой науки и всякого звания одинаково служит и всякое заблуждение, и даже нередко более чем незрелая недодуманная или недосказанная истина.